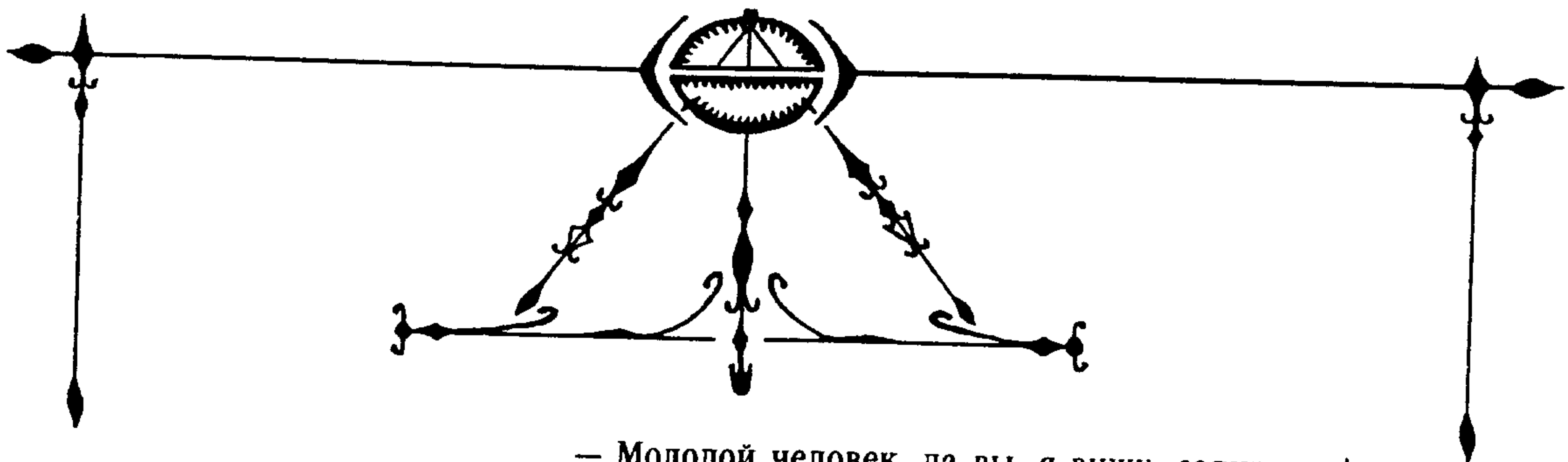


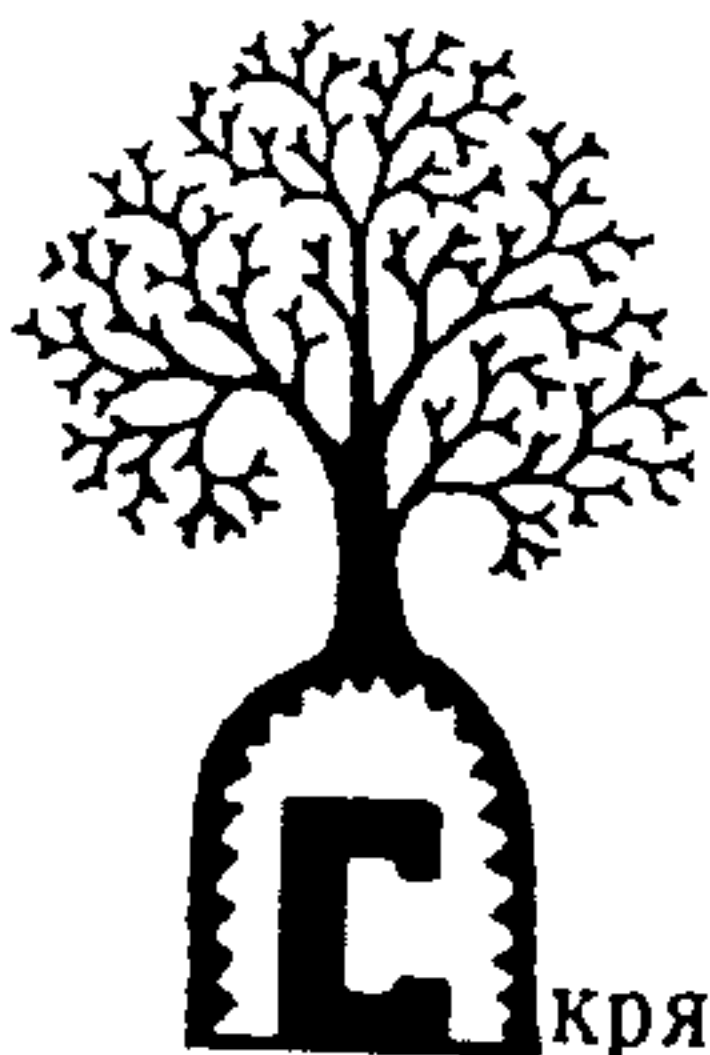


— Молодой человек, да вы, я вижу, солипсист!

— Да, .. ну так и что же из того?

(Разговор в булочной лавке.)

Глава первая. 1888. ГЛАВА ДЛЯ НАЧАЛА.



Скрябин изволил появиться на этот свет немногим раньше меня. Это вам, я полагаю, уже известно. В день его рождения случилось Рождество Христово, впрочем, как и всегда, как и ежегодно. День стоял не очень морозный, но зато очень, очень серый, наверное это был один из самых серых дней, какие только происходят в природе. Впрочем, я полагаю, это все теперь уже не вполне важно. А важно пожалуй только то, что Саше все же удалось родиться, и сделал он это 25 декабря 1871 года. И хотя мне тогда только еще предстояло через несколько времени появиться на этом свете, тем не менее я имею все основания громогласно утверждать, что знал Скрябина именно с этого дня, с дня его рождения. С 25 декабря 1871 года. И хотя почти всем, кто читает теперь эти строчки, подобное заявление может показаться совсем несущественным, тем не менее, не будем торопиться с выводами. И тем не менее, не будем торопиться с выводами, господа!

Прочие воспоминания детства у меня остались вполне скудные, абсолютно обрывочные и полузатертые. И лица знакомых мне людей какие-то вялые, размытые, имен у них почти нет, короче, ничего, почти решительно ничего не вспоминается из ранней жизни. Единственное, что я теперь могу сказать положительно — это то, что в детстве мы со Скрябиным несколько



раз виделись и были весьма знакомы. Моя матушка мне рассказывала, что раза два-три мы гостили по нескольку дней в деревне у Скрябиных где-то под Новгородом, это, конечно, летом, и что один год случайно столкнулись с Сашей и его тетушкой Любовью Александровной в Крыму, кажется, в Гурзуфе. Однако, встречи были весьма несчастными. Наша семья все эти годы жила в Петербурге, а Скрябины — в Москве. Выезды случались редко. В том не было ни желания, ни особой нужды. Сашина мама, пианистка Люба Щетинина, училась в петербургской консерватории на соседнем курсе с моей матушкой, и они довольно много были знакомы. Впрочем, их общение прекратилось тотчас по окончании консерватории, а через год после рождения Саши его мать умерла. Еще и бабушку мою связывали какие-то давние впечатления молодости с двоюродной скрябинской бабушкой Марией Ивановной. Вот, вроде и вся генеалогия. Однако, как это ни прискорбно, но ничего, решительно ничего определенного из этих детских встреч и впечатлений я не вспоминаю.

Могу только догадываться о том, что каких-то особых выдумок и проказ мы с Сашей, наверное, не творили. Я в детстве был очень небольшого роста, худой и болезненный, впрочем как и сам Саша Скрябин. Однако, будучи нервным, эксцентричным ребенком, я неизменно приковывал к себе внимание всех других детей и поневоле вынужден был становиться в центре их развлечений. Меня это чрезвычайно раздражало и тяготило, часто я под разными предлогами или даже безо всяких предлогов убегал ото всех прочь или просто прятался в одиночестве. Более всего я любил выдумывать что-то самому для себя, ну или, на худой конец, изредка с кем-то вдвоем. Саша мне потом, уже через много лет, кое-что рассказывал о двух-трех наших с ним проделках, но то уже были совершенно его, а вовсе не мои воспоминания. И теперь я даже и сам не знаю, не могу различить, то ли все это действительно случилось на самом деле, то ли он придумал маленькую сказочку в веселом полудетском расположении духа...

Но как бы то там ни было, а “впервые” мы встретились со Скрябиным как “старые, старые знакомые”. В ноябре 1888 года, будучи уже “молодым человеком с весьма пробивающимися усами”, я по каким-то своим выдуманным вопросам приехал в Москву. Причем приехал я совершенно один и остановился на квартире у дальних родственников моего отца, которые на меня по своему характеру обращали очень мало внимания, так что я мог полностью располагать всем своим временем по собственному разумению и был вполне предоставлен себе и свободен. В консерваторию я заявиться тоже совершенно не спешил и появился в ее величественных коридорах только, кажется, на день третий-четвертый. И дело у меня было, на мой же взгляд, совсем незначительное. К тому времени в петербургской консерватории вокруг моей нескромной персоны уже сложилась слишком напряженная обстановка, и даже начало попахивать некоторым скандалом, так что я уже подумывал потихоньку, а не продолжить ли мне учение где-нибудь подальше и потише. Мысли эти были, впрочем, вполне вялые и вскоре вовсе рассеялись как утренний туман под влиянием бодрящих московских впечатлений. Ожидая увидеть в “провинции” более спокойную, вальяжную обстановку, в духе всеобщей творческой терпимости, я, напротив того, натолкнулся

на сплошную вереницу ревнителей и поборников искусства с гораздо более напряженными лицами, чем даже это было в Петербурге. Натолкнулся и, естественно, тут же спешно ретировался. Впрочем, простите, перо мое несколько отклонилось от предначертанного ему курса. Простите, господа. Я виновато улыбаюсь и возвращаю его на прежнее место.

Итак, я в коридоре некоего домика на Большой Никитской уже с полчаса вяло прогуливаюсь в каком-то грустном, томительном ожидании. Со всех сторон раздаётся невообразимый, хотя и глухой шум от насилуемых роялей. Солнце в зените. Работа в разгаре. Наконец дверь одного из классов распаивается, и я вижу полноватого, весьма вальяжного господина с гладкой бородкой и “растущим авторитетом”, в виде пока не очень большого, но подающего крупные надежды животика. Таких господ очень часто можно встретить в ресторане первого класса. Мимо меня шуршит платьем некая его трепетная ученица в полубелом, и вот я уже несколько рассеянно и, пожалуй, слишком нервно для пианиста, излагаю этому господину свое небольшое “дельце”. Меня слушает Василий Ильич Сафонов. К тому времени он еще явно недостаточно тучен и мастит, еще не слишком “оброс тем самым авторитетом” и, кажется, еще не вполне числился в директорах консерватории. Впрочем, мне хорошо известно нынешнее критическое положение с этими самыми директорами, и я тоже, хотя и весьма наивно, но надеюсь на отсутствие твердого единоначалия в Москве. Сафонов молча слушает мой недлинный студенческий спич, слегка поглаживая время от времени свою бородку вкупе с усами. Он сейчас, конечно, очень занят, у них скоро концерты, концерты, много концертов, очень много концертов, но он все равно приглашает меня зайти к нему в класс и послушать, что и как у них теперь в консерватории делается. Я чувствую себя хоть и студентиком, хоть и убогеньким, но “зато” столичным и довольно независимой походкой направляюсь вслед за Сафоновым в недра его крупного рабочего кабинета.

Там уже нас давно поджидают две-три подтянутые девицы на стульях и некий переглядывающийся с ними компактный молодой человек со вздернутым носом, в лакированных штиблетах, уже положенных выжидательно на педали. Я слишком нервен и обозлен на самого себя, чтобы внимательно рассматривать всех присутствующих, но к моему удивлению, молодой человек быстро вскакивает от рояля и с возгласом: “Вот тебе раз! Юра, откуда же вы здесь?” — начинает жизнерадостно тискать мою правую руку. Совершенно неожиданно я оказываюсь на целую голову с вершком длиннее этого улыбающегося господина и с некоторым напряжением сверху вниз узнаю-таки в нем знакомое лицо детского Скрябина. “А, Шуринька!” — непроизвольно вырывается у меня. Саша чем-то очень сильно похож на свою уже давно покойную мать, фотографию которой я регулярно вижу у нас дома в альбомчике, и, пожалуй, только это сходство сейчас выручает мою своенравную память. Почти всегда в таких же случаях я неизменно попадаю в полный конфуз и решительно не могу вспомнить ни имени, ни лица господина, с которым, возможно, только вчера встречался и даже много беседовал.



— Это новость,— вполголоса бормочет вяло улыбающийся Сафонов, слегка потирая руки,— Вы оказывается коротко знакомы? Впрочем, Саша, к инструменту, у нас время...

Студент Саша, оглядываясь и виновато улыбаясь, присаживается за рояль. Выждав для приличия положенное пианистическое время, пока затылок не станет вполне серьезным и сосредоточенным, он начинает играть какую-то, на мой взгляд, просто невероятную мерзость, совершенную бурду, замешанную на благопристойном академизме и романтической серости. Я с усилием делаю себе каменное лицо, чтобы сразу, с первой же минуты не скомпрометировать себя окончательно перед всеми присутствующими. Однако, эти самые присутствующие слушают музыку с большим вниманием, а Сафонов, так тот даже время от времени что-то подмечает или поправляет в исполнении. Наконец, в одном, как ему видимо кажется, совершенно особом месте, он восклицает, обращаясь то ли ко мне, то ли к присутствующим девицам, то ли, наконец, к самому себе: “Нет, вы смотрите, смотрите на его ногу! Вот так надо общаться с педалью!” И все присутствующие, включая и меня, сразу и послушно смотрят на маленькую ногу молодого человека, сидящего за большим лакированным роялем.

Через каких-то полчаса я уже знаю, что Саша играл подлинно ужаснувшее меня сочинение будущего профессора по соседнему классу того же здания П.Ю.Шлецера.

Наконец настает долгожданная тишина. Саша улыбается. Он свободен. Мы выходим в коридор и ждем мэтра Сафонова. Сегодня Саша немножко обедает у своего профессора, и я, “раз уж такое дело”, тоже к нему приглашен. Однако, изнутри меня ужасно как распирает злоба. Вытерпеть целых полчаса такой чудовищной музыки — это для меня слишком уж много. Первые минут пять между нами следуют немного дежурные фразы — воспоминания и вопросы, обычные для встречи старых знакомых, но скоро нам разговаривать становится явно не о чем. Наконец, настает довольно-таки напряженноватое молчание.

— И откуда ты выкопал этакую дрянь?! — наконец не выдерживаю я, сходу переходя на “ты” от избытка чувств. И тут же подробно излагаю словами все то, что Саша только что перебирал пальцами на клавиатуре.

— Что же это ты, уже совсем исполнителем сделался, заправским “пьянистом”? Тебе весьма нравится то, что ты играешь, но только потому, что это играешь ты? Только послушай, ну разве это не постыдно?

Этот грустный факт я давно знаю даже за собою. Есть такая общая исполнительская черта — получать удовольствие от громких быстрых звуков, от процесса игры, от чего угодно, но только не от самой музыки, главного предмета приложения своих усилий. А в результате исполняют без разбора всякую мерзость.

Саша сначала испуганно оглядывается по сторонам от переизбытка моих резких выражений, но потом внезапно лицо его даже оживляется.

— Но как ты не понимаешь, что я должен, уж коли занимаюсь этим делом, выискивать какие-то крохи даже в том немногом, что у меня имеется. Это же класс, это же просто



нормальное занятие профессией! — запальчиво возражает он и отчего-то сразу победоносно поглядывает в мою сторону.

Тем временем мы как-то незаметно уже спускаемся вниз по лестнице и, вяло переругиваясь, выходим на улицу, в скудный садик перед зданием консерватории, ходим там какими-то концентрическими кругами и кольцами, жестикулируя, время от времени останавливаясь от избытка чувств и даже переходя иногда чуть не на крик. Да, я хорошо понимаю, что Саша безусловно прав по-своему, но ведь нельзя что-либо делать, сознательно замыкаясь, ограничивая искусственно рамки своего занятия, а потом этим самым ограничением и оправдывать собственную ограниченность! Внутренние возможности должны быть сразу и навсегда открыты до видимой абсолютности.

От непогрешимости такой логики Саша на секунду останавливается и как-будто что-то ищет глазами вокруг себя. Наконец он смотрит на меня пристально почти в упор и тихо говорит: “Да, ты прав. Но не думай, что ты мне это рассказал теперь. Я это тоже сам давно знаю. Но подумай, как я могу с таким знанием ежедневно упражняться на своем черном рояле и ходить в класс! Я должен это забывать из соображений чисто практических, иначе как я смог бы делать свое дело изо дня в день?” — вид у него при этом чуть виноватый, как бы слегка оправдывающийся, но при том одновременно и чрезвычайно гордый.

Я смеюсь, глядя на него. Смеюсь от полноты радости. Мы, кажется, теперь уже оба чувствуем настоящий подъем, который возникает вместе с ощущением подлинного родства, близости друг к другу. Этакое классическое *“Wahlverwandschaft”*. Скряичь сам потом много-много раз вспоминал этот первый наш полудетский разговор в маленьком чахлом садике из нескольких деревьев перед консерваторией. Вспоминал и любил вспоминать с огромной теплотой.

— Ты знаешь, я ведь никогда до этого момента ничего подобного не испытывал! В сущности ведь малознакомый человек пришел, ну видел в детстве раза три, ну встретились, ну беседуем каких-то пять минут, и вдруг возникает ощущение полного, полного родства, почти тождества. Когда другой возражает тебе твоими же собственными словами. Этакое внезапное единение, согласие, — наконец смеялся он, отчего-то лихо подкручивая левый ус.

Но, впрочем, это уже потом, гораздо позже, когда и усы были, и еще многое, многое другое, что было. А теперь я просто гляжу на него и улыбаюсь от своего собственного избытка чувств.

— Чудак ты, хотя и “Шуринька”, — непременно смеюсь я, — ведь саму-то, саму деятельность, дело свое для себя и нужно устанавливать именно не от ограничения, не опуская планку вниз, а по максимуму, чтобы потом была возможность не уменьшать самого себя до размеров своей мелкой ежедневной работы, а наоборот, расширяться до нее каждый день!

Бог весть вам сказать, что я тогда имел в виду конкретно. Спросите даже сейчас — не смогу ведь наверное вам ответить четко, в одном слове. Музыки я сам тогда еще и не начал писать, только баловался слегка, сам этому не придавая большого значения. В исполнительстве



своем разочаровался давно и прочно, да и, строго говоря, никогда в нем и очарован не был. С самого раннего возраста в белых и черных клавишах для меня были скрыты лишь тщетное страдание да полпорции детской злобы. А основным моим делом в те годы было, пожалуй, самое что ни на есть Главное, а именно тяжелое и кропотливое создание своей доктрины, практической доктрины, позволяющей *действительно* расширить рамки представляемого до возможных человеку пределов, даже может быть вовсе без пределов, но хаос и бесконечность эту, подобно самой Вселенной, организовать изнутри так жестко и четко, чтобы система эта без видимых точек и границ тем не менее могла бы работать внутри себя практически, осязаемо, изо дня в день.

Я замолкаю и смотрю на Сашу сверху вниз. Лицо у него стало совсем серьезное, даже глаза как-то неожиданно потемнели и углубились куда-то внутрь, в себя.

— Удивительно,— тихо говорит он,— ты знаешь, я об этом никогда и ни с кем не разговаривал. То есть я разговариваю, конечно, и очень много, о всяких философских проблемах, о божестве, о жизни, о религии, короче, о разном, но есть такие вещи, которые постоянно скрываешь ото всех, бережешь их, да впрочем, если и сказать о них кому, то и не поймет никто, и слов нужных не найдется... И даже сам с собой наедине стараешься меньше всего об этом думать, чтобы не разрушить случайно, или самому не разрушиться... Есть какой-то в сознании особый уровень, когда все эти философии, религии, жизни, люди — все остается где-то внизу, ну или пусть даже не внизу, а сбоку где-то, в стороне... И тогда вот это все, понимаешь, все окружающее исчезает, и остаешься один на один с какой-то глубиной, пространством, не знаю как сказать даже, с хаосом что ли?.. — он немного запнулся и снова посмотрел на меня,— Ну ты ведь и сам прекрасно меня понимаешь... Но я еще боюсь, я еще не умею так жить, и возвращаюсь скорее обратно, стараюсь забыть об этом, создать вокруг себя какую-то разнообразную жизнь, системы, системки, как ты сам говоришь... Но если хотя один раз туда заглянул, то это уже есть навсегда. Это нельзя совершенно забыть. Это либо знаешь, либо не знаешь. И все время в глубине души где-то на дне эта... темная бесконечность ждет, она затаилась и теперь живет внутри. И вот что особенно удивительно — я скрываю это знание ото всех, и тоже от себя в первую очередь, и боюсь этого знания, и бегу от него, а ты,... ты вот вроде со мной еще только минут десять всего и говоришь, а уже все то же самое я и в тебе почувствовал, узнал... Но у тебя это все как-то иначе устроено, ты вроде уже с этим хаосом и подружился, и говоришь о нем запросто, и по плечу его вроде как хлопаешь поминутно... Ты знаешь, я так еще не могу, не умею...

Его худое, нервное и бледное лицо постепенно стало совсем погрустневшим, хотя и какой-то свет в нем угадывался, и какая-то торжественная тайна, почти детская.

— Это все не так страшно, как кажется вначале,— говорю я ему с важным, бывалым видом, как бы немного утешая,— ты и сам будешь в свое время с этим, как ты выражаешься, хаосом запросто, “на ты”, и тогда откроется просто бездна новых возможностей, о которых ты еще не подозреваешь. Здесь только есть одна тонкость. Для человека любая бесконечность таит в себе страх разрушения. Обычный характер может уничтожить себя в соприкосновении

с нею. Но только внутренне отстранившись от себя как от человека, ты имеешь возможность наконец по-настоящему использовать всю эту небывалую бездну, прорву, тьму нового. И это будет настоящее открытие, как вспышка света, как целый новый мир. Но только после того, как ты хоть немного отстранишься от своего человеческого лица. А сейчас ты просто еще слишком много человек. Да и ничего в этом ужасного нет, если я, скажем, этот путь уже почему-то прошел раньше, вернее, прохожу, то у тебя своя дорога, ты еще только начинаешь, или идешь быть может иначе, медленнее как-то...

— Ты знаешь,— Саша повернулся ко мне и внезапно весь как бы вытянулся в струнку,— Я тебе очень благодарен, со мной так никто еще не разговаривал. Я думаю, мне это очень было нужно... Ведь даже то, что сам хорошо знаешь, но никогда не проверял словом, очень полезно иногда проговорить или даже услышать. Тогда понимаешь, что так можно жить, что это не уродство какое-то, которое только у тебя одного и которое нужно скрывать ото всех. Вот ведь ты живешь, ты живой, идешь рядом со мной и умеешь с этим существовать. Это для меня очень важно...

Он перестал говорить, и мы несколько времени вышагивали по очередному кругу молча. Я невольно следил за блестящими носами сашиных штиблет, а Скрябин смотрел задумчиво куда-то немного вбок и вдаль.

Конечно, такой разговор может показаться вполне чудовищным, если кому-нибудь пришло бы в голову взглянуть со стороны в этот момент на наши физиономии. Двое шестнадцатилетних юношей с совершенно еще детскими лицами, худые и очень бледные, один небольшого роста, а другой, напротив того, нескладно долговязый. И вот, эти, в сущности, совсем еще полудети вместо оживленных бесед о музыке, к примеру, Чайковского и Рубинштейна, или, на худой конец, об осени, упавших листьях и их очаровании, ведут какую-то ужасную беседу, смысл которой даже при втором прочтении не вполне всем может быть ясен. Да, господа, я с вами вполне согласен. Видимо, это все действительно ужасно. Да, я согласен. Но помочь, помочь вам ничем не могу. Быть может это ужасно, но это так. Два молодых человека с ярко выраженными чертами ювенильности: они слишком рано взрослеют в мысли и слишком поздно — в жизни. За все приходится платить, но зато и все приносит затем свои плоды...

— А знаешь,— Саша наконец прервал затянувшееся молчание и слабый стук каблучков по дорожке,— Я бы очень хотел поиграть тебе свою музыку,— и он тут же потянул меня за рукав обратно в здание, из которого мы только что радостно ушли.

— Я, правда, часто играю свои вещицы, когда получается,— добавил он как бы слегка извиняясь,— но для тебя мне сейчас хотелось бы это особенно играть...

Нужно сказать, что я без особого энтузиазма поплелся вслед за Скрябиным. Во-первых, я вообще не очень люблю музыку, а тем более никогда не стражду с ней знакомиться, а во-вторых, после прослушивания конечно же придется что-то мямлить в отзыв, а я очень хорошо знаю свой дурной характер: у меня всегда гораздо легче и занятнее получается что-то ругать, чем хвалить. Когда я пытаюсь сказать кому-то хорошие слова, пускай даже и от



чистой души, это получается как-то неискренне и вяло, но зато когда я принимаюсь нечто ругать — тут уж начинается всеобщее веселье, оживление, целый фейерверк разных “bon mots” и прочих мелких радостей. Но сейчас, после такого чудесного разговора с Сашей мне вовсе не хотелось испортить, нарушить установившийся между нами тонкий контакт из-за каких-то жалких студенческих пьес для фортепиано... Ну и наконец, у меня просто не возникало теперь никакого желания возвращаться обратно в мрачное консерваторское здание...

Противу моих робких надежд, Скрябин на изумление быстро смог найти какую-то свободную комнатку с роялем, прикрыл дверь, и тут же “без дополнительного предупреждения” схватился играть. Первая же вещица, кажется это был до-диез-минорный этюд, меня сильно насторожила. В этой музыке оказалась целая масса изящества и какого-то чрезвычайного выражения. В ней явственно ощущался привкус настоящей, большой музыки. И я не обратил большого внимания на очень явное присутствие шопеновского духа, к тому же и сам был в том немного грешен: в каких-то моих собственных пустяковых ученических “вариациях в темпе вальса” тоже была целая масса Шопена, и еще раз Шопена, и мало чего другого вообще там было. Но то был сущий пустяк, школьная ерунда, которой я и сам не придавал никакого значения. А здесь, под сашиними пальцами звучало совсем другое. Здесь явно чувствовалось начало, Начало Настоящего. И при всем своем пожизненно вялом и сдержанном отношении к музыке, я никак не смог этого не услышать, не почувствовать. Но почувствовал я еще и другое, что мне понравилось гораздо меньше: в этой музыке, в ее чрезвычайной утонченности и выпуклости выражения, во всем ее обаянии тонких интонаций содержалась бездна чисто человеческих ощущений, даже каких-то черезчур общительных, чуть ли не салонных... Значит,— немедленно решил я про себя,— пока только этой своей частью, именно человеческой частью, он может нечто создавать...

Саша доиграл и, отклонившись назад, как бы невнимательно, вскользь посмотрел на меня. Не знаю доподлинно, что именно выражало в тот момент мое временами предательски непослушное лицо, но он сразу заиграл дальше, еще и еще, и играл наверное минут двадцать, не меньше. Теперь не припомню точно всего, что он тогда исполнял, но положительно там были ноктюрны f-moll и Fis-dur, еще какой-то этюд из тех шести, которые никогда не были изданы, мазурка, которая мне гораздо меньше понравилась и наконец замечательная прелюдия e-moll (впоследствии через много лет включенная в op.11). Играл Скрябин очень тонко, в каких-то постоянных приглушенных полутонах, и вот тут я действительно уже сам без дополнительных посторонних приглашений “посмотрел на сашину ногу”. Эта самая нога его в лакированных штиблетах непрерывно крадучись осторожно нажимала на педаль, так что даже самые тихие звуки давали множество малейших отголосков в полупедалях, четверть-педалях, чуть-педалях, и уже сам инструмент с его молоточками и подушечками, казалось, мог свободно выбирать, на какие звуки отвечать всеми своими струнами, а какие немедленно приглушать.

Наконец, музыка временно прекратилась. Преодолевая неловкость и тишину, я что-то весьма невнятное пробормотал Скрябичу вроде того, что это все даже слишком хорошо и



неожиданно для меня, но очень уж по-человечески звучит, и что я тем не менее весьма желал бы в Петербурге, в консерватории, немножко играть кое-что, если он позволит, конечно, и если у него есть лишние ноты, впрочем, если нот нету, но если он все равно позволит, то я сам кое-что перепишу и буду немножко играть, если, конечно, он не против. Саша заметно оживился за инструментом и даже лицо его не казалось теперь таким зеленовато-бледным.

Конечно, он позволит мне играть, если я захочу, но вот только отчего я сказал, что это все слишком “человеческая музыка”.

— А какая музыка еще может быть? — искренне удивился он, — Что, разве не вся музыка человеческая?

И как я мог ему на это ответить? Тогда, на тот день я еще оставался в этом вопросе совершенно непорочным теоретиком. Вот я ему и ответил, как теоретик. Я просто напомнил ему его же собственные слова о той бездне внутри себя, заглянув в которую, он невольно отшатывается назад и боится подойти к ней снова, и о том хаосе, который живет в нем якобы независимо от его воли.

— Видишь, — завершил я почти торжественно, — ведь нельзя же сказать, что в тебе живут какие-то разные люди, один из которых Скрябин, а другой — нет. Ведь и тот, кто боится — это ты, и то чего боишься — это тоже ты! Между ними нету никакого непреодолимого различия. Но музыку твою пишет пока только один из них, а именно — человек, тот, кто здесь, тот кому жить не страшно, а не жить — страшно. Поэтому я и говорю, что музыка, которую ты играл — есть человеческая музыка.

По лицу Скрябина было заметно, что он вполне понял меня и даже, пожалуй, остался согласен, но такое внезапное “ограничение” собственных талантов ему явно понравиться не могло. Видимо, снова ему стало как-то неловко, неуютно в присутствии своих близких сейчас и видимых пределов. Он чуть недовольно побарабанил пальцами по крышке рояля и наконец вспомнил:

— Наверное нужно скорее идти, ведь Василий Ильич пожалуй уже дожидается! — и Шуринька тут же резко вскочил со стула с необычайной легкостью, как-будто в нем наконец смогла распрямиться незаметная маленькая пружинка, прижатая на то время, пока он должен был сидеть за роялем. Вообще говоря, черта эта — крайняя упругость, мелкая подвижность в движениях — была всегда очень характерна для Скрябина и сохранилась у него на всю, всю жизнь.

Впрочем, когда я говорю слово “Скрябин” по отношению к этому еще полудетскому мальчику, каждый раз неизменно ловлю себя на том, что имя это относится вовсе не к нему, а к какому-то совершенно иному человеку с длинными, подкрученными кверху усами и совсем другим взглядом светло-карих глаз. Люди эти теперь очень мало похожи друг на друга. У того, который помладше, гораздо более “обыкновенное”, привычное выражение лица. Правильные черты, разве что немного вздернутый кверху нос, который он время от времени осторожно приглаживает левой рукой, особенно когда “думает”, короткая стрижка, слегка оттопыренные уши и неожиданная ямочка-дырочка на подбородке, совсем такая же



как у меня, только немного поглубже и поуже. Это, наверное, еще не Скрябин, а пока только Саша что ли?...

Мы потихоньку выходим в коридор. Впрочем, Сафонов нас пока что совсем не ждет. Он еще “в классах”, с девочками. Некоторое время мы неловко переминаемся по коридору, не зная чем занять неизвестно какое время. По правде говоря, мне совсем не улыбается ни с того, ни с сего идти обедать к толстому бородатому авторитету Сафонову, но и уходить сейчас же одному, без нового любимого Саши вроде как тоже не хотелось бы. Чтобы загладить свою “вину” за идеологическое осуждение сашиных “мазурок”, я снова поднимаю вопрос переписки скрябинских нот для последующего их петербургского исполнения. И вот уже между нами твердо решено, что после пресловутого сафоновского обеда мы вместе идем к Саше домой и выбираем, что, наконец, можно переписать, а что никак нельзя. Значит, обедать все же придется — и я подавляю трагический вздох из глубины души...

Ни сам Сафонов, ни семья его мне открыто не нравятся. Для меня всегда содержится нечто совершенно антипатичное в самодостаточной уравновешенности жизни. Важный, обстоятельный педагог, его полноватая серьезная жена, с простоватым, почти “деревенским” лицом, тут же две дочки, девочки с какими-то совершенно одинаковыми для меня гримасками на физиономиях. Зная свой взрывчатый ехидный характер, я стараюсь все больше играть в молчание и делать за едой постное, подчеркнуто скромное лицо. Впрочем, к Саше Сафонов неизменно внимателен и почти ласков. Видно, что он безусловно выделяет его из прочих учеников и, возможно, имеет даже на него свои педагогические планы. Разговоры за столом ведутся вялые, неспешные, в основном вокруг каких-то близких концертов. Опять, некстати, появляется среди нас и дух Павла Юльевича, который Шлецер, и который этюд. Я чувствую, что меня начинает неудержимо распирать изнутри, я становлюсь все более язвительным, уже называю Скрябина “Сашуринькой”, и вообще от меня заметно пахнет кошмарнейшим музыкальным вольнодумием. Сафонов все чаще хмурится, а у Саши делается все более и более растерянное лицо: он явно не знает, как себя теперь вести между двух огней. Наконец, слава богу, и чай уже выпит, и мы облегченно выбегаем на свежий воздух. От избытка счастья я даже не успеваю толком надеть пальто и тащу его на руках. Это настоящая радость!

— Ну нет! — Саша отдувается и сквозь смех осуждающе стучает меня в плечо, — Прости, но я больше с тобой не откушиваю. Здесь уже слишком явно одно из двух: либо Сафонов — либо Ханин, либо чай — либо пицца духовная, либо мясо — либо эфир небесный...

Я и сам ужасно доволен, что так удачно вырвался. Теперь и мои мысли о московской консерватории заметно прояснились, и на душе появилась чрезвычайная легкость: больше не нужно заставлять себя ни с кем разговаривать, да еще в таком “просительном”, якобы заинтересованном тоне. Еще день-два — и обратный поезд. Жить сразу стало гораздо проще и веселее.

Москва оказывается чрезвычайно маленьким городом. Даже по сравнению с Петербургской городской стороной, где я прожил всю свою жизнь, здесь ужасно много



низеньких деревянных домиков и вообще приземистых строений. Через каких-то несколько минут мы уже вбегаем мимо усатого дворника в парадное сашиного дома.

С Любовью Александровной, скрябинской тетушкой, вести себя оказывается гораздо проще, чем с тучным и “знаменитым” профессором. Во-первых, она меня сразу же узнает, к моему вящему удовольствию и облегчению, хотя я остаюсь в полном недоумении, как можно помнить стольких людей, да еще и совершенно с детского возраста. До конца жизни это останется для меня подлинной человеческой загадкой. К тому же она очень простая “сердобольная” тетушка с чуть ли не деревенским методом обращения. При ней легко, к тому же можно почти не опасаться — хорошо известно, что она, разговаривая с тобою, ничего внутри себя такого особенного втихомолку не думает. Саша с ней ласков, но как-то обычно рассеян и не очень внимателен. На минутку скромно появляются и две скрябинские бабушки. Они маленькие, тихие и какие-то особенно незаметные. Едва только поздоровавшись со мной, они почти тотчас быстро и бесшумно исчезают в своей дверке.

А в комнате у Саши сразу обнаруживается небольшой, небрежно брошенный на стуле мундирчик кадета. Я вопросительно поднимаю брови и готов уже взять под козырек. Это для меня почти новость. Но Саша внезапно начинает оправдываться:

— Это уже скоро закончится. Последний год, полгода — и все, свобода. Ты же знаешь, это у нас “семейный мундир” такой. Традиция... — он уже потихоньку роется в ворохе исписанной нотной бумаги, то и дело выуживая оттуда отдельные листки, и откладывает их в сторону, про мою душу, — К тому же в корпусе мой дядя начальником, и это очень сильно облегчает мою “солдатскую” участь. И вообще, я же вольноопределяющийся!

Я тут же вспоминаю его чрезвычайно лакированные, почти зеркальные штиблеты (судя по ним, Скрябин действительно и по-настоящему “вольноопределяющийся”) и едва приметно улыбаюсь. Но Саша сразу замечает мою несколько хитрую улыбку и вопросительно поднимает на меня лицо.

— А ты никогда не пробовал в консерваторию ходить не в ботинках, а в лаптях? — смеюсь я, вспоминая один из своих недавних “психологических опытов”, — Я полагаю, тогда уже точно все ученицы и без просьбы Сафонова станут смотреть на твою правую ногу, а если повезет, то и на левую тоже!

Саша неопределенно улыбается, но я вижу, что он еще не вполне хорошо меня понял. И я пытаюсь срочно “загладить” свою двусмысленную шутку:

— Все-таки, знаешь, удобно, ведь лапти очень мягкие, в них гораздо лучше чувствуется педаль...

Тем временем ноты уже почти подготовлены для дополнительного досмотра. Большую часть из лежащего передо мной на столе я сегодня уже кажется слышал. Однако, к моему удивлению, в скрябинских бумагах царит полный беспорядок и неаккуратность. Часть пьес записана просто в черновике, кое-где только намечен верхний голос, а фактуры иногда почти вовсе нет.



— Саша, а как же это я стану списывать? — я искренне удивлен. Мне кажется, что если работа не доведена до конца, то, значит, и отношение к ней несерьезное, и сама работа тоже несерьезная. Я тут же напрямую и говорю об этом. Саша заметно хмурится.

— Да, я знаю, это у меня еще есть, такая неорганизованность. Но ведь я пытаюсь, я борюсь с собою! Хотя тяжело, конечно, все-таки приходится больше всего времени заниматься на рояле. Когда уже заканчиваешь, наконец встаешь от инструмента, настает полная опустошенность такая, усталость, и совсем ничего делать больше не хочется.

Я, кажется, вполне искренне возмущен таким посредственным поворотом дел. Как же это можно не выделить главное, основное в своих ежедневных занятиях! Безобразие!

— Да ты сам посмотри, в конце концов, где значительное в твоей жизни, а где вовсе нет! Столько вокруг пианистов, ну прямо как мух не давленных, и ведь все бесконечно сидят и играют, играют,.. играют... Один сыграет этак, другой ну может быть немножко, совсем немножко иначе, третий еще чуть-чуть по-своему. Вот и вся мера участия, весь вклад. И ведь все это — только одно мгновение, ветер, звук. Закончил играть — и все, уже не осталось ровно ничего. Это они для себя специально выдумали такое словечко “творчество”, а на самом деле — исполнение, исполнение — и все тут! А здесь, в нотах, посмотри сам, какова мера твоего участия, личная? Здесь почти все — твое, почти все — ты. Это потом другие будут много, много раз исполнять написанное тобой единожды. Есть разница? А ты говоришь: занимаюсь, занимаюсь на “роялях”... Бред какой-то...

Саша каким-то неопределенным, прозрачным взглядом смотрит на меня и некоторое время ничего не говорит.

— Конечно, ты прав,— наконец не очень уверенно выдавливает он,— Но я не так уж и неисправим, как ты это себе сейчас полагаешь, вот например, смотри,— и он довольно нервно выдергивает из кипы нотной бумаги весьма красиво переписанный аккуратный листок, на котором почему-то чуть не десять раз подряд выведено сверху на разных языках слово “Баллада”. К своему удивлению я узнаю в написанном тексте уже игранную сегодня прелюдию e-moll, только в другой тональности и с какими-то странными вариациями.

Но Саша, едва уловив перемену в моем лице, тут же отбирает у меня ноты. Вид у него становится весьма категорический.

— Ну это так, неважно,— говорит он,— это старый вариант, теперь я уже все переделал.

— Нет уж, прости, этак не годится, нужно немедленно наводить порядок,— так же категорически заявляю я,— Сегодня-завтра я сам перепишу у тебя несколько вещей, но и ты тоже должен закончить то, что у тебя здесь валяется в полном запустении. Вот, например, прелюдию, и эти два ноктюрна тоже, ну и вообще, сам посмотришь, что нужно закончить и отложить, а что из эскизов вообще не очень годится.

Саша берет под козырек и грустно улыбается. Глаза у него сделались за несколько минут очень усталые и какие-то совсем остановившиеся. Понимающе кивнув, я быстро забираю с собой несколько нотных листков и решительно ухожу, невзирая на длинные



уговоры и причитания основательно огорчившейся сашинной тетушки, непременно желающей кормить нас вторым обедом.

Назавтра уже переписанную начисто прелюдию, ноктюрн и два небольших вальса я укладываю в свой маленький дорожный чемоданчик-сундучок, а сашины ноты благополучно возвращаются к нему на стол. Я вижу, что он изумлен такой быстротой и исполнительностью. Сам он пока только еще начал первые две строчки прелюдии. Он жалуется мне, что вот уже назавтра будет концерт в Дворянском собрании, и приходится почти все время просиживать за кошмарным черным роялем. Впрочем, вид у Саши при этом все равно немножко торжественный, а тетя его при одном только упоминании о концерте так просто сияет подобно начищенному самовару — как-никак “первый, настоящий”. Однако я ядовито осведомляюсь, уж не Шлецера ли он собрался играть при большом стечении народа. Ко всеобщему счастью оказывается, что все-таки нет. Шлецер не для Благородного собрания, для Благородного собрания — “Бабочки” Шумана, а “Этюд” Шлецера — это только для консерватории.

Сегодня я опять быстро удаляюсь. У Саши мало времени, да и мне пора собираться в обратный путь. Скрябин несколько провожает меня по улице, еще не очень холодно, мы идем и о чем-то незначительном разговариваем. Но через два-три квартала уже прощаемся, и Саша быстро бежит назад, к своим шумным “Бабочкам”. Несколько раз он останавливается, оглядывается и машет мне рукой.

А вечером того же дня я уже немножко еду в поезде обратно в Петербург, где меня тоже ждут и свои рояли, и свои “Бабочки”. И совершенно не могу сказать, чтобы я был от этого в большом восторге.

